

18+



ПИТЕР АКРОЙД

ИСТОРИЯ АНГЛИИ

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ

От битвы при Ватерлоо
до Бриллиантового юбилея королевы Виктории

Содержание

- [1. Озлобленные души](#)
- [2. Та Тварь](#)
- [3. Работа вечности](#)
- [4. Неспокойный мир](#)
- [5. Дверь к переменам](#)
- [6. Ложные надежды](#)
- [7. Инспектор](#)
- [8. Пар и скорость](#)
- [9. «Свинью зарезали»](#)
- [10. Юные надежды](#)
- [11. Городские огни](#)
- [12. Благотворящее правление](#)
- [13. «Саламандра»](#)
- [14. Великолепнейшее зрелище](#)
- [15. Жажда крови](#)
- [16. Сумрачный мир](#)
- [17. Веяния моды](#)
- [18. «Бойцовый петух»](#)
- [19. Неожиданная революция](#)
- [20. «Она не может продолжать»](#)
- [21. Дело Тичборна](#)
- [22. Ангел](#)
- [23. Императрица](#)
- [24. Депрессия](#)
- [25. Ужасные новости](#)
- [26. «Паук-сенокосец»](#)
- [27. Утраченные иллюзии](#)
- [28. Ложе родовых мук](#)

[Заключение](#)
[Библиография](#)
[Фотоматериалы](#)

Информативное исследование основных тенденций, определивших ход развития Англии в период раннего Нового времени.

Publishers Weekly

Достойное продолжение интереснейшей серии книг потрясающего рассказчика и внимательного историка.

Christian Science Monitor

Мастерски проведенная оценка эпохи, которая ознаменовалась изменениями во всех областях жизни.

History Revealed

Захватывающая панорама жизни общества, заключенного в тиски стремительных перемен, касающихся индустриализации, урбанизации, появления железных дорог и электрического телеграфа.

Times

ИСТОРИЯ АНГЛИИ



ОСНОВАНИЕ

От самых начал до эпохи Тюдоров

ТЮДОРЫ

От Генриха VIII до Елизаветы I

МЯТЕЖНЫЙ ВЕК

От Якова I до Славной революции

РЕВОЛЮЦИЯ

От битвы на реке Бойн до Ватерлоо

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ

От битвы при Ватерлоо
до Бриллиантового юбилея королевы Виктории

ПИТЕР
АКРОЙД
ИСТОРИЯ АНГЛИИ



РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ

ОТ БИТВЫ ПРИ ВАТЕРЛОО
ДО БРИЛЛИАНТОВОГО ЮБИЛЕЯ
КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ



Peter Ackroyd
THE HISTORY OF ENGLAND
Volume V. Dominion

Впервые опубликовано в 2018 году издательством Macmillan,
импринтом Pan Macmillan

Перевод с английского Виктории Степановой

Акройд П.

Расцвет империи : От битвы при Ватерлоо до Бриллиантового юбилея королевы Виктории / Питер Акройд ; [пер. с англ. В.В. Степановой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. – ил.

ISBN 978-5-389-20979-4

18+

История Англии — это непрерывное движение и череда постоянных изменений. Но всю историю Англии начиная с первобытности пронизывает преемственность, так что главное в ней — не изменения, а постоянство. До сих пор в Англии чувствуется неразрывная связь с прошлым, с традициями и обычаями. До сих пор эта страна сопротивляется изменениям в любом аспекте жизни. Питер Акройд показывает истоки вековой неизменности Англии, ее консерватизма и приверженности прошлому.

Повествование в этой книге начинается с анализа причин, по которым национальная слава после битвы при Ватерлоо уступила место длительному периоду послевоенной депрессии. Освещаются события времен Георга IV, чьим правительством руководил лорд Ливерпул, решительно настроенный против реформ, и правление Вильгельма IV, прозванного «Король-моряк», чья власть ознаменовалась модернизацией политической системы и отменой рабства. Начало эпохе важнейших инноваций положило восшествие на престол королевы Виктории в возрасте восемнадцати лет. Всю страну охватил технический прогресс, появление среднего класса изменило облик общества, а научные достижения трансформировали старые взгляды Англиканской церкви и способствовали распространению светских идей. Интенсивная индустриализация принесла владельцам фабрик успех и процветание, но рабочие классы по-прежнему страдали в условиях плохого жилья, продолжительного рабочего дня и крайней нищеты. И вместе с тем это было время расцвета литературы: читатели получили возможность наслаждаться творчеством поэтов — Байрона, Шелли и Вордсворта, а также великих романистов XIX века: сестер Бронте, Джордж Элиот, Элизабет Гаскелл, Теккерея и Диккенса, с чьими произведениями стала ассоциироваться викторианская Англия. В политике экспансионизм уже не ограничивался самой Британией: к концу своего правления Виктория стала императрицей Индии, а Британская империя доминировала на

большей части земного шара и подтвердила свое право считаться «владычицей морей».

Глубокий, многомерный исторический анализ сопровождается множеством литературных цитат и богатым иллюстративным материалом.

© Peter Ackroyd, 2018

© Степанова В.В., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021

КоЛибри®

1

Озлобленные души

Уильям Мейкпис Теккерей завершает написанный в середине XIX века роман «Ярмарка тщеславия» (1848) следующими назидательными словами: «Ах! Vanitas Vanitatum! Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего желает его сердце, а получив, не жаждет большего?.. Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено»¹.

Теперь пришло время снова открыть ящик, смахнуть с кукол пыль и поставить их на ноги. Это уже не персонажи романа, а герои викторианского мира, который окружает и одухотворяет их, придавая им характерные нотки лукавства, корысти и жизнерадостности.

Предыдущий том окончился заключением всеобщего мира и удалением со сцены Наполеона Бонапарта. Радости мирного времени оказались как нельзя более мимолетными. Со времени создания в 1793 году Первой коалиции прошло двадцать с лишним лет. Все это время нужды армии и флота, потребности людей и настойчивость союзников побуждали фермеров, промышленников и торговцев активно заниматься своим делом и зарабатывать деньги. Казалось, спрос на зерно, хлопок и оружие будет всегда высок, но, увы, это не так. В 1815 году в Annual Register отмечали, что приметы «национального величия» повсеместно вытеснены «признаками всеобщего упадка».

И все же Веллингтон по-прежнему был национальным героем, а Британия вышла победительницей гонки, утвердив новую власть в мире. Так или иначе, она

приобрела семнадцать новых колоний со всем сопутствующим престижем и влиянием и сохраняла их не менее полувека. Впрочем, не имело смысла рукоплескать уходящим волынщикам, когда им некуда было идти. Те ветераны, которым повезло больше остальных, смогли вернуться к своим прежним занятиям, но многих уволенных с военной службы ожидали жизнь в нищете и бродяжничество. Впрочем, некоторым все же пригодился армейский опыт, когда они занялись организацией маршей луддитов и возглавили бунтовщиков, разъяренных голодом и отсутствием работы.

Послевоенный упадок продолжался около шести лет, и публике, слабо разбирающейся в хитросплетениях экономики, нужно было найти то или тех, кто мог быть в этом виновен. Разумеется, вину за происходящее возложили на правительство — или, скорее, на бессилие и распущенность тех, кто им руководил. Раздавались призывы «удешевить правительство», хотя никто толком не знал, как этого добиться. Страх и ненависть, которые навлек на себя правящий класс, никуда не исчезли и во многом повлияли на дальнейшие беспорядки и призывы к политической и избирательной реформе.

Немало людей в то время еще продолжало жить на старый лад. Некоторые джентльмены все так же выпивали перед сном пару бутылок портвейна, хотя пьянство уже решительно выходило из моды. Другие по-прежнему преклонялись перед королевским двором и высшим обществом, пока на первые места в мире выходили торговцы и приобретенные торговлей состояния. Богатые жители лондонских пригородов продолжали держать свиту лакеев и несколько экипажей с кучерами в напудренных париках. Счетные конторы и торговые предприятия Сити вели дела на условиях полной анонимности — рекламой им служила лишь медная пластинка под дверным звонком. На

центральных улицах едва могли разъехаться, не столкнувшись, две нагруженные пивными бочками телеги. Все мужчины и женщины знали, какое место они занимают в обществе сообразно своему рангу, достатку и возрасту.

Во втором и третьем десятилетии XIX века наблюдатели стали замечать в обществе новые настроения, новый дух серьезности и целеустремленности. В эту эпоху жили персонажи романов Чарльза Диккенса Мартин Чезлвит, Николас Никльби, Филип Пиррип по прозвищу Пип — и, конечно, сам Диккенс с его ясным взглядом и быстрой походкой, которому ничего не стоило пройти пешком 30 миль (48 км). Нравственные качества этих вымышленных персонажей как нельзя лучше соответствовали наступившим новым временам. На следующий день после смерти Диккенса в Daily News написали: «В созданных им картинах современной жизни потомки смогут увидеть жизнь и характеры XIX века яснее, чем в записках современников». Очертания XIX века встают перед нами в романах и повестях многих других авторов: мы видим ту задумчивую меланхолию и фривольный юмор, боязливость и поэзию утраты, жалость и способность к чудовищным злодеяниям, иронию и неуверенность в себе, умение прочно стоять на ногах в материальном мире и в то же время стремиться (по крайней мере, если говорить о серьезном среднем классе) к духовному и трансцендентному. И все же мы не можем подойти к нашим предкам совсем близко. Их мир — не наш. Если бы человек XXI века оказался в таверне или ночлежке того времени, ему, несомненно, стало бы дурно — от запахов еды и самой еды, от чужого дыхания и общей атмосферы вокруг.

Главным в те годы было слово «хватка», подразумевавшее такие качества, как отвага и

способность преодолевать любые препятствия. Кроме того, это называли «характер» и «стойкость» — то был своего рода глубокий вдох перед прыжком в быструю воду Викторианской эпохи. Людям тогда приходилось, как выразился один священник, «нестись по течению через пороги». От тех, кто жил до них и после них, они отличались безоговорочной верой в силу человеческой воли, — какой бы религии они ни придерживались, этот принцип лежал в основе их мировоззрения. Они были готовы, собрав все силы, решительно идти до конца. Отсюда возник культ независимости, позднее увековеченный в принципе «помоги себе сам», который проповедовал Сэмюэл Смайлс. Он составлял часть знакомой каждому «жизненной битвы», складывающейся из ясно обозначенного долга и усердного труда. Работа была величайшей из наук. Она требовала решительности, твердости, энергии, настойчивости, педантичности и непреклонности. Это были главные добродетели грядущей Викторианской эпохи.

Общество помолодело, в том числе благодаря поразительному росту рождаемости: если в 1811 году численность населения составляла 12 млн человек, к 1821 году она достигла 14 млн, а к 1851 году — 21 млн человек. Около половины из них были моложе 20 лет и жили в городских или приближенных к городским условиях. Причины этого огромного прироста до конца не поддаются объяснению, — можно предположить здесь естественную реакцию страны, стоящей на пороге грандиозных перемен; свою роль, очевидно, сыграло и снижение детской смертности. Там, где современное домохозяйство состоит из 3–4 человек, в начале XIX века их было 6–7. Большие семьи никого не удивляли. Религиозная перепись 1851 года показала, что по воскресеньям места религиозного поклонения посещают 7 млн человек, примерно половину из

которых составляют англиканцы. Однако, по данным того же опроса, 5,5 млн человек не считали нужным посещать какие-либо храмы или церкви. Англия находилась в состоянии шаткого равновесия, за которым, с точки зрения религии, могло последовать только падение вниз.

Возможно, именно молодостью нации объясняется царившее везде и всюду оживление. Кредо серьезности просуществовало почти сто лет и на исходе этого срока было высмеяно Оскаром Уайльдом, а в те ранние годы самым модным танцем был вальс, появившийся в 1813 году и поначалу считавшийся «возмутительным и непристойным» из-за необыкновенной близости партнеров друг к другу. Он кружился и порхал по бальным залам Англии как символ безудержной, бьющей через край энергии эпохи.

В 1815 году победители обглодали кости старого мира на конгрессе в Вене. В Европе осталось четыре великие державы — Россия, Австрия, Пруссия и Великобритания, — три из которых были абсолютными монархиями, а последняя могла с натяжкой называться демократическим государством. Земной шар держали на плечах несколько человек. Одним из них был лорд Каслри, министр иностранных дел в Уайтхолле, всеми силами старавшийся сохранить сложившиеся многовековые традиции и баланс сил. Само по себе могущество Англии никто не подвергал сомнению. Выступая перед палатой общин, Каслри сказал: «Люди в целом склонны приписывать нам заносчивую гордость, неоправданное высокомерие и надменную начальственность в политических вопросах» — и он не собирался всего этого отрицать. О Каслри также говорили, что он как волчок, который «тем лучше вращается, чем усерднее его подхлестывают».

Премьер-министр лорд Ливерпул сменил несколько министерских постов, но в кресле главного министра

оказался уже после убийства Спенсера Персиваля в 1812 году. Он был тори вполне типичного для того периода образца: питал неприязнь к любым реформам и переменам, за исключением самых неспешных, и больше всего заботился о сохранении в существующем обществе гармонии или хотя бы ее видимости. О нем говорили, что в первый день Творения он умолял бы Господа немедленно прекратить этот беспорядок. Возможно, он, как многие его коллеги, мечтал о католической эмансипации и свободной торговле, но время этих решений еще не пришло. Его работа заключалась в поддержании собственного превосходства. Ливерпул мало чем запомнился современникам, однако его это не слишком волновало. Дизраэли называл его «архипосредственностью», и, может быть, именно в этом состояло его главное достижение. О нем можно сказать все, что обычно говорят о главных министрах: он был честен, он был тактичен. Кроме того, он был дипломатичен, осторожен и благонадежен (все три качества — верный способ кануть в забвение) и вполне безмятежно заседал в палате лордов, где было не слишком трудно прослыть человеком выдающегося ума. В 1827 году, пробыв на посту главного министра 15 лет, он вышел в отставку по причине слабого здоровья. Как только он ушел, о нем тут же забыли.

Прежде чем окончательно похоронить его под ворохом банальностей, обратим внимание на одну любопытную деталь. В напряженные моменты Ливерпул имел привычку плакать под влиянием так называемой слабости. Его считали чересчур сентиментальным, другое поколение сказало бы — слезливым. Просматривая *Morning Post*, он не мог сдержать дрожь, а жена одного из его коллег, Чарльза Арбатнота, писала о его подчеркнута холодной манере держаться и в высшей степени раздражительном, неустойчивом

характере. Не слишком похоже на тактичность и внешнюю уравновешенность, которые на самом деле могли быть лишь маской, прикрывающей тревожность и глубокую неуверенность. Первые десятилетия XIX века и эпоху Регентства иногда представляют как время всеобщего легкомыслия, конец которому положила только крепко сомкнувшаяся на скипетре маленькая рука Виктории. Как сообщает современник Сидней Смит, в эти годы почти каждому было хорошо знакомо «стародавнее, глубинное чувство страха, от которого трясутся руки и сводит желудок». Убийство предшественника Ливерпула, Спенсера Персиваля, было воспринято публикой с явным удовольствием. В тот период ни в чем нельзя было быть уверенным: отовсюду доносились сообщения о беспорядках, слухи о заговорах и революциях, угрозе голода и новой европейской войны.

Лорд Ливерпул был тори в то время, когда метка принадлежности к партии мало что означала. Две основные партии, виги и тори, не имели никаких установленных порядков и представляли собой скорее разношерстные фракции под руководством сменяющихся временных лидеров. В 1828 году герцог Кларенс сказал: «Эти имена могли что-то значить сто лет назад, но сейчас превратились в бессмыслицу». Виги лишились власти в 1784 году, когда превратились из удобных для короля держателей полномочий в противостоящую ему олигархическую фракцию. Тори под руководством Уильяма Питта захватили власть и не горели желанием ее возвращать. Уильям Хэзлитт сравнивал партии тори и вигов с двумя дилижансами, которые поочередно вырываются вперед на одной дороге, обдавая друг друга грязью.

Тори жаловались на негативное отношение вигов к королевской прерогативе и стремление к реформам, в том числе к католической эмансипации. Виги, в свою

очередь, считали, что тори глухи к народным требованиям и слишком снисходительны к исполнительной власти. В остальном они почти ничем не отличались. Маколей пытался с достоинством обозначить позиции обеих партий, назвав одну из них защитницей свобод, а другую — хранительницей порядка (что говорит о его выдающейся способности упорядочивать мир с помощью слова). Лорд Мельбурн, будущий главный министр из партии вигов, просто говорил: «Все виги — кузены». Именно эта семейственность подрывала их положение. В поэме «Дон Жуан» (1823) Байрон писал об этом:

Все мчится вскачь: удачи и невзгоды,
Одним лишь вигам (господи прости!)
Никак к желанной власти не прийти².

Политика вершилась словно за занавесом. Кабинеты часто созывались без какой-либо цели или повестки дня, и министры могли только догадываться, зачем они вообще собрались. Протоколы заседаний не велись, и только премьер-министру разрешалось делать записи, которые не всегда были надежными. До 1830-х годов партийные лидеры крайне неохотно высказывались на тему государственной политики, так как это могло быть компрометирующим. Списки избирателей сбивали с толку и одновременно были довольно случайными, и на голосование могла влиять одна важная персона или один преобладающий вопрос.

У Ливерпула было множество прозвищ — в числе прочего его называли «Старая плесень» и «Большой переполох» (Grand Figitatis). В его защиту заметим, что у него было более чем достаточно поводов для волнения. Послевоенный упадок во всех областях жизни заставил всколыхнуться ожесточившуюся за годы войны страну. Интересы сельского хозяйства противоречили

интересам правительства: приток дешевого иностранного зерна привел к резкому снижению цен, однако попытка искусственно поднять цены на зерно могла спровоцировать народные волнения. Что делать? Фермеры опасались, а многие люди, наоборот, надеялись на неизбежное развитие свободной торговли. Однако снижение цен и прибылей привело к тому, что многие остались без работы, и число безработных еще увеличилось за счет притока ветеранов войны. Это происходило каждый раз, но, очевидно, никто никогда не был к этому готов. Работы почти не было, платили мало, — единственным, чего хватало с избытком, была безработица. Озлобленные люди могли в любой момент обратиться к насилию.

Беспорядки начались в 1815 году в Северном Девоне и в следующие месяцы охватили всю страну. К недовольным присоединились те, кто выступал за промышленную реформу, в частности за ограничение детского труда. Многие считали, что практические перемены к лучшему действительно возможны. Из этого рождалась агитация за политические реформы. Кроме того, надо было что-то делать с миллионами новых подданных существенно разросшейся империи. Как быть, например, с ирландцами, которые с 1800 года входили в состав Соединенного Королевства? Один из министров, Уильям Хаскиссон, отмечал, что все партии «не удовлетворены и встревожены» сложившимся положением дел.

В 1815 году по земле еще не ходили поезда, а по воде не плавали пароходы. До появления на улицах Лондона конных железных дорог и омнибусов оставалось тринадцать лет. Все люди, за исключением самых важных и высокопоставленных особ, ходили пешком. Ежедневные поездки в дилижансе обходились слишком дорого, поэтому огромные толпы людей передвигались

на своих двоих. Вскоре после рассвета в потоки измученных пешеходов со стертymi ногами вливались клерки и посыльные, спешащие с окраин на службу в Сити. Подмастерья подметали полы в лавках и поливали водой мостовую перед входом, в пекарнях уже толпились дети и слуги. Если повезет, вы даже могли увидеть в окрестностях Скотленд-Ярда танцующих угольщиков. В этот ранний утренний час, как и в любое другое время суток, единственным развлечением для бедняков оставались плотские утехи. Аллеи и кусты исполняли роль общественных туалетов, а также служили для других, более интимных целей: соития с проститутками за пару пенсов были обычным делом.

Живший тогда в Лондоне Генри Чорли отмечал, что по утрам люди особенно стараются «продемонстрировать с лучшей (или худшей) стороны свою любовь к музыке и веселый нрав (или пустоумие), горланя под окнами модные новые песни». Популярные мелодии насвистывали на улицах и в тавернах, их скрипуче выводили шарманки. Печатные листки с нотами и стихами продавали на улицах, обычно в перевернутых зонтиках, и самые предприимчивые продавцы постоянно обновляли ассортимент. Уже принимались за работу торговли рыбой и зеленью, продавцы устриц, печеного картофеля и каштанов. Позднее, незадолго до полудня, поодиночке и группами появлялись негритянские певцы. Наблюдательный прохожий легко мог узнать дома ткачей в Спиталфилдсе, каретных мастеров в Лонг-Эйкре и часовщиков в Клеркенуэлле, палатки с подержанной одеждой на Розмари-лейн. Собачьи бои, петушиные бои, публичные казни, увеселительные сады и позорные столбы — все это усиливало общую атмосферу оживленного действия.

Ночи стали светлее. Раньше Лондон освещался по ночам только свечами и масляными лампами, но затем в игру вступили силы газа и пара. Газ одел улицы

сиянием, затмившим все остальные источники света. Агитаторы и передовые политические мыслители с самого начала были правы. В конце концов, это была эпоха прогресса. Страна постепенно расставалась с приметами XVIII века. Правда, желудки бедняков по-прежнему пустовали. Не для них открывались таверны и мясные лавки, и даже картошка за пенни была им недоступна.

В марте 1815 года был принят Хлебный закон, запрещавший ввоз иностранного зерна до тех пор, пока собственный продукт не достигнет стоимости в 80 шиллингов за бушель. В результате цены взлетели слишком высоко. Не получив никакой поддержки, бедняки и недовольные начали бунтовать. Члены парламента жаловались, что их бросает туда-сюда, словно волан между ракетками игроков. Лишь немногие из них разбирались в экономической теории, хотя еще в 1807 году отец Джона Рескина писал: «Великая наука, первая и наиглавнейшая из наук для всех людей... это наука политической экономики». С тем же успехом фермеры могли бы сами заниматься высокими расчетами, привычно полагаясь на наблюдение и опыт, здравый смысл и «Альманах старого Мура» (Old Moore's Almanack).

Рецессия набирала обороты. Роберт Саути писал в *British Review*: «Горестно созерцать приметы крайней нищеты в центре цивилизованного и процветающего государства». Вызванные Хлебным законом волнения в Лондоне ни к чему не привели, но в Ноттингем вернулся луддизм. Беспорядки развернулись от Ньюкасла-на-Тайне до Норфолка, а также в Саффолке и Кембриджшире. В 1816 году отряды безработных прошли через Стаффордшир и Вустершир. Сообщалось, что большое количество людей «маршируют по улицам, собираются группами и изъясняются в самых угрожающих выражениях». В газете *Liverpool Mercury* в

конце года писали: «Скорбь царит в наших домах, голод на наших улицах — более четверти населения страны живет на подаяние». Накал страстей в публичной прессе повышали такие издания, как Black Dwarf и Weekly Political Register («Еженедельный политический реестр») Коббета. Их выпускали и распространяли радикальные общества, самым эффективным среди которых была сеть Хэмпденских клубов, зародившаяся в Лондоне и вскоре перекочевавшая на северо-восток. Подписка стоимостью пенни в неделю считалась не слишком дорогой платой за возможность распространить среди прядильщиков, ткачей, ремесленников и заводских рабочих сведения о взяточничестве и коррупции государственных чиновников. Многие опасались, что в руки радикалов могут попасть рычаги массового движения. Собственно говоря, именно тогда появилось слово «радикалы» — так называли любую группу «озлобленных душ», которые, говоря словами викария из Харроу, «отрицали Писание» и «презирали все государственные устои страны». Министр внутренних дел открыто называл их врагами общества, и некоторое время любое диссидентское или оппозиционное течение автоматически считалось «радикальным».

Кроме того, возникла еще одна крупная дилемма. В своих «Наблюдениях о влиянии промышленной системы» (Observations on the Effect of the Manufacturing System; 1815) Роберт Оуэн отмечал: «Промышленная система производства уже так широко распространила свое влияние в Английской империи, что произвела существенное изменение в общем характере народных масс». Люди превращались в специализированные механизмы, предназначенные только для извлечения прибыли для своих работодателей. Машины поощряли и обеспечивали разделение труда, при котором каждый рабочий играл относительно простую и четко

определенную роль. Машины гарантировали единообразие работы и однородность продукта, не допускали сбоев по причине невнимательности и лени. Вместе с машинами пришла рациональная и упорядоченная система труда. Это произошло тихо и почти незаметно. Теперь экономисты и образованные земледельцы хотели разобраться в сути происходящего и открыть новую главу жизни. Среди первых слушателей технических и финансовых лекций были Роберт Пиль и Джордж Каннинг, два тори с блестящим будущим.

Монархом номинально оставался Георг III, но к этому времени он окончательно впал в безумие. Страной правил регент, принц Уэльский, о котором герцог Веллингтон отзывался так: «Худший человек, которого мне приходилось встречать, самый себялюбивый, самый неискренний, самый злонравный, полностью лишенный каких бы то ни было располагающих качеств». Именно в это время, когда в стране бушевали голод и беспорядки, принц-регент начал строить Королевский павильон в Брайтоне. Всю свою жизнь он гонялся за химерами и сооружал воздушные замки.

¹ Перевод М. Дьяконова. — *Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.*

² Перевод Т. Гнедич.

2

Та Тварь

Лицемерие густым облаком окутывало XIX век. Без него невозможно представить себе эпоху респектабельности. В 1821 году Байрон писал: «По правде говоря, величайший *primum mobile* Англии — это лицемерие. В политике, поэзии, религии, нравах — оно везде, многократно отраженное в самых разных явлениях жизни». Чтобы проиллюстрировать свою мысль, он грозил превратить Дон Жуана в методиста, но множество диссентеров и англикан тоже обращались к Богу только ради приличия. Лицемерие было зеркалом своекорыстия, замаскированного под благожелательность, жадности, выдающей себя за благочестие, «национальных интересов», в действительности отражающих интересы нескольких привилегированных семей. В лицемерие облачался политик, который улыбался, продолжая оставаться негодяем; на языке лицемерия говорили реформаторы нравственности, закрывавшие пабы по воскресеньям; и политический лексикон нации, который часто хвалили за классическую структуру и звучную риторику, базировался на лицемерии. Историки нередко изумляются многословности и пылкости членов парламента XIX века — но их слова были лицемерием. Большинство людей, обладающих хотя бы некоторой способностью к самоосознанию, понимали, что их убеждения и добродетели — пустой звук. Впрочем, следуя негласной общей договоренности, они продолжали поддерживать этот обман. Ни одна эпоха

еще не была так озабочена тем, чтобы произвести правильное впечатление.

Лицемерие лежало в основе возникшего осенью 1815 года Четверного союза. Его предшественником был Священный союз, объединявший Россию, Австрию и Пруссию. Когда в межгосударственных делах начинают рассуждать о святости, это повод насторожиться. Было объявлено, что с этих пор страны станут руководствоваться в своей внешней политике чувствами взаимной любви и доброжелательности, но в действительности монархи боялись друг друга так же, как собственного народа. Каслри называл Священный союз «образчиком возвышенного мистицизма и бессмыслицы», рожденным в мыслях «не вполне твердого разумом» монарха. Однако он не сделал ничего, чтобы помешать принцу-регенту одобрить это начинание. Впрочем, толика любви и доброжелательности могла принести Англии некоторую пользу, поскольку Четверной союз был заключен с явным намерением укрепить монархическое единство и изгнать из своей компании династию Бонапартов. Итак, «Европейский концерт», главным дирижером которого был Каслри, начался со звонких фанфар.

Великий храм лицемерия в Вестминстере распахнул свои двери в начале 1816 года, и его прихожане хлынули в палату общин и палату лордов. Первую контролировал Каслри, вторую — лорд Ливерпул. Почему армию не расформировали полностью? Почему принц-регент явился на открытие парламента в маршальском мундире? Чем важен Королевский приют для детей военнослужащих? О настоящих невзгодах страны почти не говорили. «Я обеспокоен тем, что в вашем округе сложилось столь бедственное положение, — сказал одному из депутатов министр внутренних дел виконт Сидмут, — но я не вижу причин полагать, что его можно облегчить какими-либо действиями

публичных собраний или даже самого парламента». Когда несколько стригалей попросили отправить их в Северную Америку, Ливерпул ответил, что станки в суконном производстве не могут быть остановлены.

Подходный налог, или налог на имущество, изначально вводился как чрезвычайная мера для военного времени, и после окончания боевых действий его должны были отменить. На заседании парламента в 1816 году правительство отозвало свое обещание и, к всеобщему гневу и смятению, высказало желание продолжать собирать налог в размере одного шиллинга с каждого фунта стерлингов. Заседание, как всегда, превратилось в громкую перепалку, и правительство проиграло голосование. Подходный налог отменили: как вампиры стародавних времен, он не был мертв, а лишь погрузился в сон. Каслри писал своему брату Чарльзу: «Вы увидите, как мало то, что вы называете сильным правительством, способно повлиять на текущую ситуацию в этой стране». Многие уже критиковали Каслри, лидера палаты общин, как одного из виновников ужесточения внутренней политики. Шелли посвятил ему отдельное четверостишие в поэме «Маскарад анархии» (1819):

И вот гляжу, в лучах зари,
Лицом совсем как Кэстельри,
Убийство, с ликом роковым,
И семь ищеек вслед за ним³.

Разумеется, он был вовсе не так ужасен, каким его изображали, но любую добродетель нетрудно представить как замаскированный порок — спокойствие выдать за бесчувственность, а дружелюбие расценить как беспринципность. На самом деле он был в высшей степени тревожным и беспокойным человеком, и именно это состояние ума в конечном итоге

подтолкнуло его к самоубийству. В то время его правительство осталось с доходом в 9 млн фунтов стерлингов, при этом расходы составляли 30 млн фунтов стерлингов. Ему пришлось в числе прочего ввести косвенные налоги на ряд товаров. На одной карикатуре того времени канцлер казначейства Николас Ванситтарт выныривает из лохани и спрашивает прачку: «Ну-с, вам хватает мыла?» Но при следующем вотуме доверия тори едва избежали поражения: их традиционные сторонники предпочли воздержаться, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации.

Впрочем, мыло было наименьшей из проблем. Все обманутые надежды того времени вылились в череду спонтанных столкновений и беспорядков. С апреля до конца мая главной причиной народного недовольства служили цены на хлеб. Люди нападали на фермеров, владельцев лавок, мясников и пекарей, громили их хозяйства. Это был знак — в новом столетии извечная склонность населения к насилию никуда не делась. Недавняя война была практически забыта. Повсюду раздавался крик: «Хлеба или крови!» — что означало кровь сельских джентльменов, кровь аристократов и монополистов. Другими словами, английскую кровь. Цены на хлеб неумолимо росли.

Обеспокоенные сельские джентльмены и крупные фермеры переходили на сторону тори. Всего несколько месяцев назад партию тори объявили кликой своекорыстных управляющих, вознамерившихся пошатнуть национальные свободы. Теперь они были официальным лицом закона и порядка, над которыми нависла серьезная угроза. Виги хотели ослабить их как предателей нации — теперь же тори стали ее хранителями. (Тори вообще довольно часто удавалось обратить всеобщее недовольство в свою пользу.)

Уильям Коббет, которого правильнее было бы назвать не вигом или тори, а радикалом, обладал писательским

талантом, позволяющим ярко выразить всеобщее недовольство. В каком-то смысле он хотел вернуться к старой Англии без бумажных денег и государственного долга, биржевых маклеров и фабричных городов. Он хранил верность идеалу спокойной и добропорядочной страны и традициям равноправного общества, не испорченного деньгами. В отличие от многих, он считал залогом прекращения беспорядков всеобщую избирательную реформу. Его широко поддерживали ткачи и другие ремесленники, пострадавшие от индустриализации. Имея только таких союзников, он не мог изменить общество.

Он высказывался резко и безапелляционно и не скупился на сарказм, однако проник в самую суть дела: «Кто будет делать вид, что страна способна просуществовать еще хотя бы год, не рискуя пережить великие и ужасные потрясения, если только в способах государственного управления не произойдет серьезная перемена?» Он опасался «той Твари, что кусает нещадно». Этой Тварью для него была вся та же построенная на подкупах и взятках, давно прогнившая система, которая высасывала из страны жизненные силы. Его аргументы, пусть не всегда переданные его же словами, разошлись дальше, чем он мог себе представить. Двумя годами ранее, в 1814 году, газету The Times начали печатать с помощью парового станка. На сцену вышел новый игрок. Несмотря на все попытки правительства ограничить или взять под контроль тираж радикальных газет, обуздать жажду новостей в период тревог и неопределенности было невозможно. В период с 1800 по 1830 год продажи газет и периодических изданий увеличились вдвое. В 1816 году Коббет начал издавать свой Weekly Political Register в виде брошюры ценой в два пенса. Брошюры активно распространялись среди трудящихся классов, хотя те, кто стоял чуть выше на социальной лестнице,

презрительно называли их двухпенсовым мусором. 12 октября того же года Коббет призвал к созыву «реформированного парламента, избранного самим народом».

Коббет хорошо представлял, с какими врагами столкнулся, — обращаясь к своей матери, он описывал их как «злых расчетливых негодяев, которые доводят обнищавших людей до безумия и преступлений». Он видел повсюду одни и те же благородные семьи, те же лица, тех же кузенов. Он слышал, как эти голоса режут в парламенте: «Верно! Правильно!» Он был возмущен до глубины души. Найдутся ли еще на свете люди «столь униженные, низведенные почти до рабского положения, как те несчастные на “просвещенном” Севере, которых принуждают работать по четырнадцать часов в день при температуре в восемьдесят четыре градуса по Фаренгейту (ок. 29 °С) и наказывают даже за попытку выглянуть в окно фабрики?». Он видел бродяг на дорогах, видел людей, которые шли, сами не зная куда, в поисках работы, видел, как сельские дома разрушаются под действием ветра и дождя. И он спрашивал: что положит этому конец?

До появления рабочих домов пристанищем «негодных, беспутных и развратных», а также немощных и слабоумных служили приходские дома для бедных. О тяжелой жизни бедняков в ранней викторианской Англии говорили так часто, что это может показаться почти преувеличением. Коббет, обладавший тонким чутьем к смешанным метафорам, писал, что они «тощи, как селедки, едва волочат за собой ноги, бледны, как побелка, и раболепны, как попрошайки». Если треть населения страны на протяжении всего XIX века проживала в бедности, назвать этот век процветающим можно лишь ради красного словца или из общей склонности к криводушию. И все же его называли именно так. Из

поколения в поколение жизнь бедняков почти не менялась. Когда в 1894 году, после столетия перемен, одну женщину спросили, как ей удавалось содержать семью из пятерых детей на 17 шиллингов в неделю, она сказала: «Боюсь, мне нечего вам ответить — я так много работала, что просто не успевала задумываться о том, как мы живем». Проблема трудоустройства бедняков, в свою очередь, была тесно связана с проблемой численности населения. И здесь нашим глазам является дух преподобного Томаса Роберта Мальтуса, утверждавшего, что переизбыток бедняков прискорбным образом увеличивает естественный разрыв между скоростью прироста населения и скоростью возобновления ресурсов. Безработные и нетрудоспособные считались врагами.

Коббету противостоял не менее красноречивый и влиятельный (хотя и не столь умный и дальновидный) Генри Хант, еще один заступник народного дела. В середине ноября 1816 года он произнес речь перед большим собранием в Спа-Филдс в Ислингтоне. Один из его сторонников при этом держал над головой надетый на пику фригийский колпак. Трудно было не угадать в этом намек на разгуливающий по стране дух Французской революции. Похожая демонстрация через две недели прошла еще более бурно: демонстранты пронесли в сторону Сити окровавленную буханку хлеба. Войска быстро отогнали протестующих от Королевской биржи: власти не собирались рассматривать это как невинную шутку. Несколько лет назад, в предыдущем столетии, призывы к реформе были едва слышны. Теперь о реформах говорили даже носильщики портшезов и мальчишки-факельщики, освещающие им дорогу. Узкий кружок заговорщиков готовился к кровавой революции, но большинству было вполне достаточно время от времени собраться в таверне, выкурить трубку и выпить за разгром своих врагов. Эти

люди были слишком апатичны и безынициативны, но охотно вливались в толпу на собраниях и присоединяли свой голос к общей какофонии.

Оппозиционная партия вигов пребывала в необычайном замешательстве и не имела никаких ясных предложений. В любом случае виги не стремились к тем реформам, за которые агитировали радикалы, и в глазах своих противников они оставались аристократами и сельскими джентльменами, то есть младшими представителями «той Твари». Так или иначе, возмущение было выгодно для всех партий. Министры-тори, в свою очередь, делали все возможное, чтобы с помощью своих шпионов и агентов спровоцировать измену и восстание. В конце 1816 года Коббет писал в *Weekly Political Register*: «...они вздыхают о заговоре. О, как они вздыхают! Они усердно трудятся, работают на износ, терзаются и томятся, покрываясь испариной: они жаждут заговора и тоскуют о нем!»

Вскоре произошло почти такое же удачное событие. В конце января 1817 года, когда принц-регент ехал в своей карете после открытия парламента, что-то — камень, пуля, или сорвавшийся кусок кирпичной кладки — разбило окно его экипажа. Никому не было дела до регента, живого или мертвого, но всем было выгодно притворяться, что это так. Сам регент наслаждался вниманием и хвастал своей сангвинической реакцией на эту выходку — увольте, он не из тех людей, кого могут запугать уличные хулиганы. Каслри явился в палату общин в гораздо более серьезном настроении. Он производил впечатление ледяной уверенности в себе.

Ряд поспешно созданных комитетов вскоре представил парламенту доказательства того, что разнообразные тайные общества и подпольные повстанческие ополчения намеревались штурмовать Банк Англии и Тауэр. Это привело к отмене закона *habeas corpus*,

согласно которому человека нельзя было содержать в тюрьме без предъявления обвинения. Это был беспрецедентный удар по британским свободам. Также был принят ряд репрессивных законов, известных как Акты о принуждении, или Акты о затыкании рта, — они запрещали любые собрания как потенциально подстрекательские к мятежу. Под запрет попали также лекции по медицине и хирургии, а Кембриджский союз закрылся. Внутренний ажиотаж помог скрыть плачевное состояние экономики, которая была близка к краху. Активист партии вигов Джордж Тирни сообщал коллегам, что министры «обезумели» и что «все сторонники правительства из нижней палаты в отчаянии». Государственное банкротство могло оказаться ничем не лучше революции.

Ажиотаж, вызванный преследованием радикалов в феврале 1817 года, спровоцировал новую череду внутренних возмущений. Общество Норвичского союза заявило: «Все, чего мы хотим, — исполнения конституции нашей страны в ее изначальной чистоте, справедливого и полного представления народа в ежегодном парламенте и избавления палаты общин от засилья должностных лиц и получателей пенсий, которые жиреют, высасывая жизненные силы из полуголодных угнетенных людей». В военных конфликтах такая расстановка сил называется «с пехотой на кавалерию». До спасительного пожара 1834 года парламент был мрачным, плохо освещенным и плохо проветриваемым местом. Далеко не все депутаты считали обязательным мытьё и стирку одежды. Участники заседаний клали ноги на спинки передних скамеек или растягивались на полу, приходили и уходили когда вздумается, выкрикивали с места, смеялись, обменивались шутками, зевали, несли чушь, перебивали говорящего ради забавы — словом, вели